*Священник Илия Ничипоров*

**Антропология литературы в статьях Н.Бердяева о Достоевском, Л.Толстом, А.Белом**

Взаимообогащение литературно-художественного и философского дискурсов явилось существенной чертой культурного ренессанса начала ХХ в. В сочинениях Николая Александровича Бердяева (1874 – 1948) многие религиозно-философские и антропологические идеи раскрываются в сопряжении с разнообразными литературоведческими штудиями, среди которых важное место занимают опыты монографического и сопоставительного анализа художественных миров Достоевского и Толстого, а также А.Белого, воплотившего в своей романистике пульсацию предреволюционной современности.

Антропологическую доминанту собственных религиозных и культурфилософских построений Бердяев подробно охарактеризовал в книге «Смысл творчества» (1916), имеющей знаменательный подзаголовок «Опыт оправдания человека». По его убеждению, «философия… есть откровение человека, но человека, причастного к Логосу, к абсолютному Человеку, к все-человеку, а не замкнутого индивидуального существа», при этом «истинная антропология может быть обоснована лишь на откровении о Христе», ибо «только откровение о Христе дает ключ к раскрытию тайны человеческого самосознания… Христологическое откровение – антропологическое откровение. Задача религиозного сознания человечества и есть раскрытие христологического сознания человека»[[1]](#footnote-1). Религиозное осмысление проблемы человека видится Бердяеву как магистральное в русской литературе, которая была устремлена к «выходу за пределы культуры» и «полна воли к религиозному преображению жизни» – и у Достоевского, явившего «крайнее напряжение и обострение человеческого самочувствия, антропологического сознания», и в исканиях Толстого, чья жизнь «была мучительным переходом от творчества совершенных художественных произведений к творчеству совершенной жизни», и в теургических интенциях символизма, продиктованных «неудовлетворенностью культурой, нежеланием остаться в культуре», движением к творческому акту, который «переливается из культуры в бытие».

Постановочный характер для формирования бердяевской антропологии литературного творчества имеет статья «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» (1918), многие идеи которой получили развитие в книге «Миросозерцание Достоевского» (1921).

«Антропологические опыты и эксперименты» Достоевского образуют, по Бердяеву, первооснову его творчества и значительно превышают узко понимаемую эстетическую ценность созданных им произведений. В центростремительном мире Достоевского «ничего и нет, кроме человека, все раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь ему»[[2]](#footnote-2). Как художник-христианин, парадоксально сочетающий в своей творческой психологии экстатическую дионисичность с обостренным аналитизмом, Достоевский «всегда ведет процесс с Богом о судьбе человеческой личности»; постижение человека, его «бытийственной бездны», «экстатически-огненной атмосферы человеческих отношений» нацеливает писателя на богопознание, поскольку «Бог у него раскрывается в глубине человека и через человека».

Прочерчивая эволюцию художественной антропологии Достоевского, Бердяев проницательно связывает ее развитие с движением от раннего сентиментального гуманизма к новому откровению о человеке, пропитанному «апокалиптической мыслью»: от «Подростка», «Идиота», с «исключительной погруженностью в разгадывание человеческих судеб», исследованием «антиномической, двоящейся природы человеческой любви», к «Бесам», где в образе Ставрогина прослежена «судьба человека, истощившего свои силы в безмерности своих стремлений». В кирилловской концепции человекобога Бердяев высветляет исходный, христианский по существу идеал «освобождения человека от всякого страха и достижения состояния божественного», устремление «героического духа» к «горней свободе», однако «Кириллов есть одно из начал человеческой природы, само по себе недостаточное, один из полюсов духа. Исключительное торжество этого начала ведет к гибели». Вершину антропологических открытий Достоевского Бердяев усматривает в «Легенде о Великом Инквизиторе», пронизанной «совершенно исключительным чувством Христа» и «от противного» выражающей идею Христовой свободы как главного дара человеческой личности. В итоговом романе Достоевский «вплотную сдвигает свою тайну о человеке с тайной о Христе», *художественная антропология вырастает здесь до христологии*, противоположной принудительному, антихристову устроению земного благополучия.

Разочаровавшийся в свое время в марксистском социологизме, Бердяев отталкивается от прежних пристрастий и поначалу проявляет склонность к категоричному отрицанию социальной почвы антропологических идей Достоевского. По его оценке, погружение в человеческое «я» ради обретения «самой глубины бытия, уходящей в недра Божественной жизни», сопровождалось ослаблением или полным угасанием интереса художника к «объективному строю жизни, природному и общественному» – и в «Идиоте», где автора «не интересовал эпический быт, статика жизненных форм, достижения и ценности жизнеустроения, семейного, общественного, культурного», а занимали исключительно «гениальные эксперименты над человеческой природой»; и в «Бесах», где Кириллов якобы творит «свой антропологический эксперимент в чистом горном воздухе». В немногим более ранней статье «Ставрогин» (1914) Бердяев отметил в «Бесах» постепенное вытеснение «реалистической фабулы» развертыванием «мировой символической трагедии», сфокусированной в личной трагедии Ставрогина, в его «истощении от безмерности», «хаотическом бесновании», «барстве» как «метафизическом свойстве» и «невозможности выйти из себя в творческом акте любви». История Ставрогина возводится в статье «Откровение о человеке…» к пониманию особой религиозной антропологии в России – с «переливом» русской души «за все грани и пределы», с излюбленными ею отщепенством, скитальчеством, странничеством, что отмечалось Бердяевым и при характеристике психологической реальности романов Белого. Для выявления специфики художественной антропологии Достоевского Бердяев прибегает к контрастным сопоставлениям с иными творческими практиками. Если у Достоевского личность затмевает собой социально-природное бытие и даже становится «отражением» Божественного мира, то у Толстого человек «подзаконен», он «тонет… в органической стихии», самого Толстого «не мучит вопрос о человеке, его мучит лишь вопрос о Боге», а у символиста-мистика Белого, с его интуицией о распылении и атомизации личности, человек и вовсе «проваливается… в космическую безмерность».

«Исключительный антропологизм и антропоцентризм» Достоевского явился главным предметом и книги Бердяева «Миросозерцание Достоевского» (1921)[[3]](#footnote-3). Здесь разворачиваются высказанные прежде идеи о центростремительной структуре романов Достоевского, развитии его художественной антропологии на мучительных перекрестьях человекобожества и Богочеловечества, когда от «подполья» до Ивана Карамазова начинается и продолжается «страдальческое странствование человека на путях своевольной свободы», через переживание богооставленности как «религиозного опыта, в котором после погружения в тьму загорается новый свет».

Особый раздел посвящен в книге *проблеме свободы* в сознании Достоевского и его персонажей. По-своему корректируя расхожие еще со времен Н.Михайловского суждения о «жестоком таланте» писателя, Бердяев связывает эту «жестокость» именно с его отношением к свободе, которая выступает в качестве «и антроподицеи, и теодицеи, в ней нужно искать и оправдания человека, и оправдания Бога… Достоевский исследует человека, отпущенного на свободу… Он был «жесток», потому что не хотел снять с человека бремени свободы». У героев Достоевского в той или иной мере осознанный путь к свободному приятию Христа как Истины чреват многими потрясениями, он пролегает «через тьму, через бездну, через раздвоение, через трагедию», оборачивается подчас гибельным упоением собственным своеволием у Свидригайлова, Мити Карамазова, Ставрогина, в образах которых «показано онтологическое перерождение человеческой личности от безудержного сладострастия, перешедшего в безудержный разврат».

Нисхождение личности от «человекобожеского» сладострастия к окончательной гибели проецируется в книге Бердяева на социоисторический контекст. Антропологический «ключ» позволяет раскрыть глубинные механизмы русской революции. Романы «Бесы», «Братья Карамазовы» прочитываются как «антропологическое исследование о пределах человеческой природы, о путях человеческой жизни. То, что обнаруживает Достоевский в судьбах индивидуального человека, раскрывает он также и в судьбах народа, в судьбах общества», а потому пересечения отдельных персонажей могут быть интерпретированы в качестве отражения действия социальных сил («во взаимоотношениях Смердякова и Ивана как бы символизируется отношение между «народом» и «интеллигенцией» в революции»). Распознание гибельных последствий индивидуального своеволия приводит Достоевского к диагностированию социальных язв, прозрению «апокалипсиса и нигилизма русского духа», к исследованию того, «как безбрежная социальная мечтательность русских революционеров, русских мальчиков ведет к истреблению бытия… Достоевский противопоставляет революции личное начало, качественность и безусловную ценность личности. Он изобличает антихристову ложь безликого и бесчеловечного коллективизма, лжесоборность религии социализма».

Примечателен в книге и контрастно-сопоставительный фон, на котором рельефно прорисованы антропологические интуиции Достоевского. Если Достоевский «воспринимает жизнь из человеческого духа», «его мысль занята антропологией, а не теологией», его вглядывание в образ человека пронизано «иступленной любовью к лику Христа», поскольку именно «через Бого-Человека может быть восстановлен человеческий образ», то Толстой, как полагает Бердяев, «воспринимает жизнь из души природы… прежде всего видит устойчивый, природный строй человеческой жизни, ее растительно-животные процессы». Логика подобного сопоставления неизбежно приводит Бердяева к схематизации, к тому, чтобы Толстого периода «Казаков», ранних «народных» рассказов 50-60-х гг. фактически отождествить с Толстым последующих периодов творчества, когда антропологический «поворот» будет настолько ощутимым, что на определенном этапе приведет даже к попытке ревизии христианского вероучения. Несколько абсолютизируя «целостное» восприятие человека в художественном мире Достоевского, Бердяев столь же радикально противопоставляет ему Гоголя и Белого на том основании, что «Гоголь воспринимает образ человека разложившимся, у него нет людей, вместо людей – странные хари и морды. В этом близко Гоголю искусство Андрея Белого. Достоевский же целостно воспринимал образ человека, открывал его в самом последнем и падшем». В историко-литературном плане подобные обобщения выглядят дискуссионно, однако их эвристическая ценность заключается в уяснении *магистральных художественно-философских путей антропологического исследования, проложенных как в классической, так и в модернистской культуре*.

Отчасти в продолжение идей Д.Мережковского («Л.Толстой и Достоевский», 1900 – 1902) Бердяев *соотносит художественную антропологию Достоевского, его обостренное чувствование личности Христа с религиозным сознанием Л.Толстого* («Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л.Толстого», 1911; «Духовное христианство и сектантство в России», 1916; «Л.Толстой», 1928).

Выявляя противоречие «гениальных религиозных переживаний и недаровитых, часто банальных религиозных мыслей» Толстого, Бердяев сквозь призму позднего религиозно-этического учения писателя обозревает предшествующий творческий путь, прослеживает, как «его бунтующая критика переходит в отрицание всей истории, всей культуры». Художественно-философское сознание Толстого видится исполненным неразрешимыми антиномиями: «апология животной жизни» – и позднейшее отрицание плоти, проповедь аскетизма; «страшный враг христианства и предтеча христианского возрождения»… Религиозную стихию, мощно проявившуюся в художественном мире Толстого, Бердяев возводит к дохристианскому, ветхозаветному мирочувствию, со свойственным ему преобладанием стихии рода, а не личности. В центр христианства выдвигается Толстым «не Христос, а лишь учение Христа, заповеди Христа», желание, вопреки опыту Церкви, исполнить волю Отца не через Сына, так как «Сын мешает ему выполнить собственными силами закон Отца». Крайний рационализм толстовского «человекобожества», его «религии самоспасения», где отвергается противное разуму чудо, а природа зла в просвещенческом духе объясняется «незнанием» добра, где акцентируется прежде всего человеческий опыт исполнения религиозных правил и моральных заповедей («В чем моя вера?»), – парадоксальным образом сочетается, по мысли Бердяева, с чертами руссоизма, пантеизма, размывающими восприятие Бога как личности и приводящими художника к «могучему богочувствованию, но слабому богосознанию», к религиозной «немоте», мистике, которая – в «Казаках», «Войне и мире» – «никогда не встречается с Логосом».

Заметно упрощая религиозную реальность художественных произведений Толстого, не вполне учитывая его творческую эволюцию, разнонаправленность духовных устремлений его героев и категорично утверждая, что для Толстого «закрыто христианское сознание о личности и свободе», что сам он «жил призрачной жизнью внешней культуры», но при этом «захотел верить, как верует простой народ», – Бердяев вместе с тем справедливо признает огромную роль Толстого в религиозном возрождении на рубеже столетий, очистительную силу его «нравственного и религиозного сомнения… в оправданности культуры», «его страстное искание Божественной простоты жизни»: «Он с гениальной силой обратил людей вновь к религии и религиозному смыслу жизни… Рационалист этот, проповедник рассудочно-утилитарного благополучия… заставил христианский мир задуматься над своей нехристианской, полной лжи и лицемерия жизнью… На гениальной личности и жизни Л.Толстого лежит печать какой-то особой миссии… Толстовский анархический бунт обозначает… перевал в жизни Церкви. Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение».

Антропологический аспект оказывается ключевым и при обращении Бердяева к текущей литературе, одним из ярких явлений которой стали романы А.Белого: в статьях «Русский соблазн (По поводу «Серебряного голубя» А.Белого)» (1910), «Астральный роман (Размышление по поводу романа А.Белого «Петербург»)» (1916).

В дебютном романе Белого проникновение «в объективную стихию России» происходит через изображение сознания «культурного русского интеллигента», охваченного настроениями мистического народничества. Многоликое русское сектантство предреволюционной поры привлекало внимание Бердяева («Духовное христианство и сектантство в России», 1916) и воспринималось им как явление не просто антицерковное, но и воинствующе антиличностное, ибо «в сектантстве нет Лика Христова и нет личности, есть лишь Дух – Дух внутри человека». В этом смысле выведенные в «Серебряном голубе» представители хлыстовской секты являются не вполне сознательными носителями «стихии до Христа, до Логоса, до личности», поскольку, по убеждению Бердяева, «личность оформляется и приходит к незыблемому самосознанию лишь в Церкви Христовой», в хлыстовской же стихии личность «затеряна». В трактовке автора статьи, блуждания интеллигента Дарьяльского и его трагическая судьба, иррациональные устремления Кудеярова и Матрены становятся художественным преломлением коренных противоречий самого Белого как «чистейшего западника и культурника», символиста, не просто пораженного «разладом между стихией и сознанием», «оторванностью от бытия и боязнью бытия», разрывающегося «между культом Матрены и культом методологии», но и односторонне, вследствие обоготворения «лишь собственного творческого акта», воспринявшего религиозную жизнь России: «Только в Церкви дано мужественное начало Логоса, а церковную сторону нашей национальной жизни Белый просмотрел». В качестве положительного антипода по отношению и к интеллигентскому «расслабленному» мистицизму, и к непросветленному сектантскому отщепенству Бердяев выдвигает личность и духовный опыт сравнительно недавно прославленного тогда Серафима Саровского: «Мистическая трезвенность и есть мужественность духа, неустанное противление всякому медиумизму, всякой расслабляющей податливости женственной стихии. Величайший образец мистической мужественности дан нам в образе св. Серафима Саровского. В хлыстовстве… нет никакой мужественности. Нет этой мужественности и в современной культурной мистике. Мужественность св. Серафима должна быть внесена в стихию народную».

Бердяев стал одним из первых глубоких аналитиков и романа «Петербург» – знакового явления в модернистской прозе начала века. Опережая ход литературоведческой мысли, он назвал Белого «кубистом в литературе», показал обозначившиеся в его творчестве перспективы сближения эстетических систем символизма и авангарда, предложил ценные наблюдения о стилистике символистской прозы[[4]](#footnote-4), при этом в центр своих размышлений выдвинул *антропологический аспект* созданной Белым художественной реальности. Если Достоевский «более психологичен и антропологичен», то Белый «более космичен»: будучи «художником переходной космической эпохи», он в конфликте отца и сына Аблеуховых не только прозрел столкновение гибнущей империи с назревающей стихией революции, но и передал «ощущение космического распластования и распыления, декристаллизации всех вещей мира». В противостоянии и глубинном родстве бюрократии и революции, которые «смешиваются в… неоформленном целом», в романе запечатлены расщепление личности и, как следствие, тотальный распад бытия: «А.Белый изображал конец Петербурга, его окончательное распыление. Медный Всадник раздавил в Петербурге человека». Обращаясь к сфере психологии творчества и вглядываясь в отношения между автором и его художественным миром, Бердяев приходит к выводу о том, что в романе Белого, чье «искусство есть его собственное бытие», «нет катарсиса, есть всегда что-то слишком мучительное, потому что сам он, как художник, не возвышается над той стихией, которую изображает, не преодолевает ее, он сам погружен в космический вихрь и распыление, сам в кошмаре».

Литературоведческая составляющая многогранного философского наследия Н.Бердяева еще ждет подробного исследования. Развернутые размышления о Достоевском, Толстом, Белом открывали для него *путь религиозно-философского осмысления судеб русской культуры ХIХ – ХХ вв. в контексте идей христианской антропологии*. Видя во Христе как воплотившемся Боге источник понимания тайны человеческой личности, Бердяев именно через соотношение христианских и антихристианских интенций в сознании художника, в окружающей его общественной действительности приближается к тому «откровению о человеке», оправданию его бытия, которое, по его убеждению, составляет смысл и сердцевину творчества.

1. Текст работы Н.А.Бердяева «Смысл творчества» приводится по изд.: Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Третье издание. Paris, YMCA-PRESS, 1991. [↑](#footnote-ref-1)
2. Тексты работ Н.А.Бердяева о Достоевском, Толстом, Белом, за исключением «Миросозерцания Достоевского», приводятся по изд.: Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России. Paris, YMCA-PRESS, 1989. [↑](#footnote-ref-2)
3. Текст работы Н.А.Бердяева «Миросозерцание Достоевского» приводится по: <http://modernlib.ru/books/berdyaev_nikolay_aleksandrovich/mirosozercanie_dostoevskogo/read_1/> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ничипоров И.Б. Литература в призме философии: Н.Бердяев о романах А.Белого // <http://portal-slovo.ru/philology/41770.php> [↑](#footnote-ref-4)